

Георгий Валентинович Плеханов

# Генрик Ибсен



# Георгий Валентинович Плеханов

## Генрик Ибсен

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22098819](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22098819)

### Аннотация

*«Но я ведь и не отрицаю значения личности в истории вообще и в истории литературы в частности. Ведь без личностей не было бы и общества, а значит, не было бы и истории. Когда данная личность протестует против окружающей пошлости и неправды, тут непременно сказываются ее умственные и нравственные особенности: ее пронизательность, ее чуткость, ее отзывчивость и т. п. Каждая личность своей особой походкой идет по дороге протеста. Но куда ведет эта дорога, это зависит от общественной среды, окружающей протестующую личность. Характер отрицания определяется характером того, что подвергается отрицанию».*

# Содержание

I	4
II	24
III	32
IV	45
V	53
VI	64
VII	71
VIII	77

# Плеханов Георгий Валентинович Генрик Ибсен

## I

В лице Генрика Ибсена (родился в 1828 г.) сошел со сцены один из самых выдающихся и самых привлекательных деятелей современной всемирной литературы. Как драматург, он был едва ли не выше всех своих современников.

Конечно, те, которые сравнивают его с Шекспиром, впадают в очевидное преувеличение. Как художественные произведения, его драмы не могли бы достигнуть высоты драм Шекспира даже в том случае, если бы он обладал колоссальной силой Шекспирова таланта. Даже и тогда в них заметно было бы присутствие некоторого нехудожественного, — скажу больше, — антихудожественного элемента. Кто внимательно читал и перечитывал драмы Ибсена, тот не мог не заметить наличности в них этого элемента. Именно благодаря этому элементу, его драмы, местами полные такого захватывающего интереса, местами становятся почти скучными.

Если бы я был противником идейности в искусстве, то я сказал бы, что присутствие указанного элемента в драмах

Ибсена объясняется тем, что все они насквозь пропитаны идейностью. И такое замечание на первый взгляд могло бы показаться чрезвычайно метким.

Но таким оно могло бы показаться именно только на первый взгляд. При внимательном же отношении к делу такое объяснение пришлось бы устранить, как совершенно несостоятельное.

В чем же дело? – А вот в чем.

Ренэ Думик справедливо сказал, что отличительную черту Ибсена, как художника, составляет «вкус к идеям, т. е. нравственное беспокойство, интерес к вопросам совести, потребность взглянуть на все явления повседневной жизни с одной общей точки зрения». И эта черта, – эта идейность, – взятая сама по себе, не только не составляет недостатка, но, напротив, является огромным достоинством.

Именно благодаря этой черте мы любим не только драмы Ибсена, но и самого Ибсена. Именно благодаря ей он имел право сказать, как он говорит это в письме к Бьернсону от 9-го декабря 1867 г., что он был серьезен в направлении своей жизни. Наконец, именно благодаря ей он стал, – как выражается о нем тот же Думик, – одним из величайших профессоров «бунта человеческого духа»<sup>1</sup>.

Проповедь «бунта человеческого духа» сама по себе совсем не исключает художественности. Но нужно, чтобы она была ясной и последовательной, нужно, чтобы проповедник

---

<sup>1</sup> Le théâtre d'Ibsen. «Revue des deux Mondes». 15 Juin 1906.

хорошо разобрался в тех идеях, которые он проповедует; чтобы они вошли в его плоть и кровь; чтобы они не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчества. Если мое это неперемнное условие отсутствует, если проповедник не сделался полным господином своих идей, если его идеи к тому же неясны и непоследовательны, тогда идейность вредно отразится на художественном произведении, тогда она внесет в него холод, утомительность и скуку. Но заметьте, что вина будет падать здесь не на идеи, а на умение художника разобраться в них, на то, что он, по той или по другой причине, не сделался идейным до конца. Стало быть, вопреки тому, что кажется на первый взгляд, дело не в идейности, а – как раз наоборот – в недостатке идейности.

Проповедь «бунта человеческого духа» внесла в творчество Ибсена элемент величия и привлекательности. Но когда он проповедовал этот «бунт», то он сам хорошенько не знал, к чему он должен привести. Поэтому он, – как и всегда бывает в подобных случаях, – дорожит «бунтом» ради «бунта». А когда человек дорожит «бунтом» ради «бунта», когда он сам не понимает, к чему бунт должен привести, тогда его проповедь по необходимости становится туманной. И если он мыслит образами, если он художник, то туманность его проповеди непременно приведет к недостаточной определенности его образов. В художественное произведение вторгнется элемент отвлеченности и схематизма. И этот отрицательный

элемент несомненно присутствует, – к большому вреду для них, – во всех идейных драмах Ибсена.

Возьмем хоть «Бранда». Думик называет мораль «Бранда» революционной. И она несомненно является таковой, поскольку она «бунтует» против буржуазной пошлости и половинчатости. Бранд – непримиримый враг всякого оппортунизма, и с этой стороны он очень похож на революционера, но только похож и только с одной стороны. Прислушайтесь к его речам, он говорит:

Юные, бодрые души, за мной!

Ваше дыханье живое пыль в этом затхлом углу да сметет!

Вас поведу я к победе!

Рано иль поздно проснуться должны, стать благородней и чище, цепь компромиссов порвать.

Так скорее прочь из оков малодушья, тины раздвоенности!

На врага смело ударьте всей силой, бейтесь с ним – не на живот, а на смерть!

Это очень недурно сказано. Революционеры охотно рукоплещут таким речам. Но где тот враг, на которого надо «ударить всей силой»? За что именно нужно биться с ним не на живот, а на смерть? В чем состоит «все», которому в горячей проповеди Бранда противостоит «ничего»? Бранд и сам этого не знает. Поэтому, когда толпа кричит ему: «Веди! все мы идем за тобою!», он может предложить им только такую

программу действий:

В высь по застывшим волнам ледников, вниз по долинам, селеньям, вдоль-поперек мы всю землю пройдем, петли, силки все развяжем, выпустим души, попавшие в плен, их обновим и очистим, дряблости, лени сотрем все следы, будем воистину – люди, пастыри; старый чекан обновим, в храм превратим государство!

Посмотрите же, что выходит.

Бранд предлагает своим слушателям порвать цепь компромиссов и энергично взяться за дело. В чем будет состоять это дело? В обновлении и очищении душ, попавших в плен, в стирании с них всех следов дряблости и лени, т. е. в том, чтобы научить всех людей порвать цепь компромиссов. А что будет, когда они порвут эту цепь? Это – неизвестно ни Бранду, ни самому Ибсену. Вследствие этого борьба с компромиссами становится сама себе целью, т. е. оказывается бесцельной, а изображение этой борьбы в драме, – путешествие Бранда и следующей за ним толпы «в высь, по застывшим волнам ледников», – выходит не художественным, а, пожалуй, даже и антихудожественным. Не знаю, какое впечатление произвело оно на вас, а меня оно заставило вспомнить о Дон-Кихоте: скептические замечания, делаемые уставшей толпой Бранду, сильно напоминают те замечания, которые Санхо Панса делает своему рыцарственному господину. Но Сервантес смеется, между тем как Ибсен проповедует. Поэтому сравнение оказывается далеко не в пользу этого по-

следнего.

Ибсен привлекателен своим «нравственным беспокойством», своим интересом к вопросам совести, моральным характером своей проповеди. Но его мораль так же отвлеченна, а поэтому так же бессодержательна, как мораль Канта.

Кант говорил, что если ставить логике вопрос, что истинно, и стараться получить от нее ответ на этот вопрос, то выходит смешная картина, похожая на то, как если бы один человек доил козла, а другой – подставлял решето.

По этому поводу Гегель справедливо замечает, с своей стороны, что совершенно такая же смешная картина получается, когда люди ставят чистому практическому разуму вопрос о том, что такое право и долг, и пытаются ответить на него с помощью того же разума.

Кант видел критерий нравственного закона не в содержании, а в форме воли, не в том, чего мы желаем, а в том, как мы желаем. Этот закон лишен всякого содержания.

По словам Гегеля, такой закон «указывает лишь, чего нельзя делать, но не говорит, что следует делать. Он абсолютен не положительно, а отрицательно; он имеет неопределенный или бесконечный характер, тогда как нравственный закон по своему существу должен быть абсолютным и положительным. Поэтому нравственный закон Канта не имеет нравственного характера»<sup>2</sup>.

Точно так же не имеет нравственного характера и нрав-

---

<sup>2</sup> Ср. Куно Фишер, История новой филос., т. VIII, Спб. 1902 г., стр. 279–280.

ственный закон, проповедуемый Брандом. Благодаря своей пустоте, он оказывается совершенно бесчеловечным, что хорошо видно, например, в той сцене, где Бранд требует от своей жены, чтобы она рассталась, во имя благотворительности, с тем чепчиком, в котором умер ее ребенок и который она, по ее словам, берегла на своей груди, смочив его своими слезами. И когда Бранд проповедует этот закон, бесчеловечный именно в силу своей бессодержательности, он доит козла, а когда Ибсен представляет нам этот закон в живом образе, он напоминает человека, подставляющего решето и тем желающего помочь доению козла.

Правда, мне могут сказать, что сам Ибсен делает существенную поправку к проповеди своего героя.

Когда Бранд умирает, задавленный лавиной, некий «голос» кричит ему, что бог есть *deus caritatis*. Но эта поправка розно ничего не изменяет. Несмотря на нее, нравственный закон все-таки остается в глазах Ибсена сам себе целью. И если бы наш художник вывел перед нами героя, проповедующего на тему о милосердии, то его проповедь вышла бы не менее отвлеченной, чем проповедь Бранда. Он явился бы лишь разновидностью одного и того же вида, к которому принадлежит и строитель Сольнес, и скульптор Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся»), и Росмер, и даже – странно сказать! – обанкротившийся делец Джон Габриэль Боркман перед смертью.

У всех у них стремление в вышину свидетельствует лишь

о том, что Ибсен не знает, куда им следует стремиться. Все они доят козла.

Мне возражат: «Но это – символы!» – Я отвечу: «Конечно! Весь вопрос в том, почему Ибсен вынужден был прибегать к символам. И это очень интересный вопрос».

«Символизм, – говорит один французский поклонник Ибсена, – есть та форма искусства, которая дает удовлетворение одновременно и нашему желанию изобразить действительность, и нашему желанию выйти из ее пределов. Он дает нам конкретное вместе с абстрактным». Но, во-первых, та форма (искусства, которая дает нам конкретное вместе с абстрактным, несовершенна в той самой мере, в какой живой, художественный образ обескровливается и бледнеет вследствие примеси абстракции, а, во-вторых, зачем нужна эта примесь абстракции? По смыслу только что приведенной мною цитаты оказывается, что она нужна, как средство выйти за пределы действительности. Но за пределы данной действительности, – потому что мы всегда имеем дело только с данной действительностью, – мысль может выйти двумя путями: во-первых, путем символов, ведущих в область абстракции; во-вторых, тем же путем, которым сама действительность, – действительность нынешнего дня, – развивая своими собственными садами свое собственное содержание, выходит за свои пределы, переживая самое себя и создавая основу для действительности будущего.

История литературы показывает, что человеческая мысль

выходит за пределы данной действительности иногда первым путем, иногда вторым. Первым путем она выходит тогда, когда она не умеет понять смысла данной действительности и потому бывает не в силах определить направления ее развития; вторым путем она выходит тогда, когда ей удастся разрешить эту подчас очень трудную и даже неразрешимую задачу, и когда она, по прекрасному выражению Гегеля, оказывается в состоянии произнести волшебные слова, вызывающие образ будущего. Но способность произнести «волшебные слова» есть признак силы, а неспособность произнести их – признак слабости. И когда в искусстве данного общества обнаруживается стремление к символизму, то это верный признак того, что мысль этого общества, – или мысль того класса общества, который налагает свою печать на искусство, – не умеет проникнуть в смысл совершающегося перед нею общественного развития. Символизм, это – нечто в роде свидетельства о бедности. Когда мысль вооружена пониманием действительности, ей нет надобности идти в пустыню символизма.

Говорят, что литература и искусство представляют собою зеркало общественной жизни. Если это справедливо, – а это без малейшего сомнения справедливо, – то ясно, что стремление к символизму, этому свидетельству о бедности общественной мысли, имеет свои причины в том или другом складе общественных отношений, в том или другом ходе общественного развития: общественное сознание определяется

общественным бытием.

Каковы могут быть эти причины? Я именно хочу ответить на этот вопрос, поскольку он касается Ибсена. Но прежде я хочу иметь в своем распоряжении достаточно данных, показывающих, что я не был неправ, когда сказал, что Ибсен, подобно своему Бранду, сам не знает, куда должны стремиться люди, решившиеся «порвать цепь компромиссов»; что тот нравственный закон, который он проповедует, лишен всякого определенного содержания.

Посмотрим, каковы были общественные взгляды Ибсена.

Известно, что анархисты считают, его своим или почти своим.

Брандес утверждает, что на Ибсена, как на представителя анархического учения, ссылался один «бомбометатель» в своей защитительной речи перед судом<sup>3</sup>. Я не знаю, какого «бомбометателя» имеет в виду Брандес. Но несколько лет тому назад, присутствуя в женевском театре на представлении «Доктора Стокмана», я сам видел, с каким сочувствием слушала находившаяся там же группа анархистов горячие тирады честного доктора против «компактного большинства» и против всеобщего избирательного права. И надо сознаться, что эти тирады в самом деле напоминают рассуждения анархистов. Напоминают их и многие взгляды самого Ибсена. Припомните, например, как ненавидел Ибсен государство. Он писал Брандесу, что охотно принял бы уча-

---

<sup>3</sup> Georg Brandes, Gesammelte Schriften, Deutsche Original-Ausgabe, 4 B., S. 241.

стие в революции, направленной против этого, ненавистного ему, учреждения. Или прочтите его стихотворение: «Моему другу, революционному оратору». Из него мы видим, что Ибсен признает заслуживающей сочувствия только одну революцию: всемирный потоп. Но и тогда «черт был обманут, потому что Ной, как вы знаете, остался господином над волнами». Сделайте *tabula rasa!* – восклицает Ибсен – и я буду с вами. Это уже совсем по-анархически. Можно подумать, что Ибсен начитался сочинений М. А. Бакунина.

Но не торопитесь на этом основании причислять нашего драматурга к анархистам. Одинаковые речи имели совершенно различный смысл в устах Бакунина, с одной стороны, и в устах Ибсена – с другой. Тот же Ибсен, который говорит, что готов принять участие в революции, направленной против государства, дает очень недвусмысленно понять, что в его глазах форма общественных отношений не имеет значения, а важен лишь «бунт человеческого духа». В одном из своих писем к Брандесу он говорит, что лучшей политической формой кажется ему наш русский политический строй, потому что этот строй вызывает в людях наиболее сильное стремление к свободе. Выходит, что в интересах человечества нужно было бы увековечить этот строй, и что все те, которые стремятся к устранению этого строя, грешат против человеческого духа. М. А. Бакунин, конечно, не согласился бы с этим.

Ибсен признавал, что современное правовое государство

имеет некоторые преимущества сравнительно с государством полицейским. Но эти преимущества имеют значение только с точки зрения гражданина, а человеку вовсе нет надобности быть гражданином. Тут Ибсен вплотную подходит к политическому индифферентизму, и неудивительно, что он, враг государства и неутомимый проповедник «бунта человеческого духа», охотно мирился с одним из самых непривлекательных видов государства, какие только знает история: известно, что он искренно сожалел о занятии Рима итальянскими войсками, т. е., стало быть, о падении светской власти пап.

Тот совсем не понимает Ибсена, кто не видит, что «бунт», им проповедуемый, так же бессодержателен, как и нравственный закон Бранда, и что именно этим и объясняются недостатки драматических произведений нашего автора.

Как вредно отзывается бессодержательность Ибсеновского «бунта» на характере его художественного творчества, яснее всего показывают именно самые лучшие его драмы. Возьмите хотя бы «Столпы общества». Это – во многих отношениях великолепное произведение. Оно беспощадно и в то же время художественно разоблачает перед нами нравственную гниль и лицемерие буржуазного общества. Но какова его развязка? Самый типичный и закоренелый из бичуемых Ибсеном буржуазных лицемеров, консул Берник, приходит к сознанию своей нравственной гнусности, громогласно кается в ней чуть ли не перед целым городом и с умилен-

нием заявляет о сделанном им открытии, которое состоит в том, что опора общества, это – женщины, на что его почтенная родственница госпожа Гессель с трогательной важностью возражает: «нет, свобода и истина – вот основы общества!».

Если бы мы спросили эту почтенную особу, какой истины она добивается и какой свободы она хочет, то она сказала бы, что свобода состоит в независимости от общественного мнения, а на вопрос об истине она ответила бы, вероятно, указанием на содержание драмы. Консул Берник в молодые годы имел любовную интригу с одной актрисой, а когда муж этой актрисы узнал, что она находится в связи с каким-то господином, и когда дело стало грозить страшным скандалом, тогда его вину взял на себя его друг Иоганн Теннисен, который уехал в Америку, и на которого он, кстати, возвел обвинение в краже денег. В течение многих лет, прошедших с тех пор, в жизни консула Берника, поверх этой основной лжи, образовались целые наслоения лжи второстепенной и третьестепенной, что не помешало ему, впрочем, стать одной из «опор общества». Как мы уже знаем, под конец драмы Берник публично кается почти во всех своих грехах, – кое-что он все-таки утаивает, а так как этот неожиданный нравственный переворот совершается в нем отчасти под благотворным влиянием г-жи Гессель, то отсюда видно, какая истина должна, по ее мнению, лечь в основу общества. Если ты шалишь с актрисами, то так и говори, что в шалости ви-

новат именно ты, а на своих ближних напраслины не возводи. То же и насчет денег: если у тебя никто не крал их, то не надо делать такой вид, как будто они кем-то похищены. Такая правдивость может иногда повредить тебе в общественном мнении, но г-жа Гессель уже сказала тебе, что по отношению к нему нужно быть совершенно независимым. Пусть все последуют этой возвышенной морали, и скоро настанет эра несказанного общественного благополучия.

Гора родила мышь! В этой замечательной драме дух «взбунтовался» только для того, чтобы успокоиться, произнеся одно из самых избитых и скучных общих мест. Едва ли нужно прибавлять, что такое, поистине, ребяческое разрешение драматического конфликта не могло не повредить эстетическому достоинству.

А честнейший доктор Стокман! Он беспомощно путается в целом ряде самых жалких и самых вопиющих противоречий. В 4-м действии, в сцене народного собрания, он «естественнонаучно» доказывает, что демократическая печать постыдно лжет, называя народную массу истинным ядром народа. «Толпа есть только сырой материал, из которого мы, лучшие люди, должны создать народ». Очень хорошо! Но откуда же следует, что «вы» – лучшие люди? Вот тут-то и начинается цепь неопровержимых, по мнению доктора, естественнонаучных доказательств. В человеческом обществе повторяется то, что мы видим всюду, где есть жизнь. «Посмотрите на обыкновенную крестьянскую курицу. Ка-

кое мясо у этого чахлого животного? О нем почти не стоит и говорить! А какие яйца несет такая курица? Всякая маломальски уважающая себя ворона несет почти совершенно такие же. Теперь возьмите испанскую или японскую курицу, и вы увидите нечто совсем другое! Далее я позволю себе указать вам на собак, к которым мы, люди, стоим так близко. Представьте себе сначала обыкновенную крестьянскую дворняжку... Потом поставьте рядом с этой дворняжкой пуделя, предки которого в течение нескольких поколений жили в хороших домах, где они слышали гармонические голоса и музыку. Не думаете ли вы, что мозг пуделя гораздо более развит, чем мозг дворняжки? Да, вы можете быть в этом совершенно уверены! Именно таких цивилизованных пуделей фокусники научают выделять удивительнейшие штуки. Дворняжка никогда и ни за что не научилась бы таким штукам».

Я совершенно оставляю в стороне вопрос о том, насколько японская курица, пудель или вообще та или другая разновидность прирученных животных может быть отнесена к числу «лучших» в животном мире. Я замечу только, что «естественнонаучные» доводы нашего доктора побивают его самого. В самом деле, по их смыслу выходит, что к лучшим людям, к руководителям общества, могут принадлежать только те, чьи предки в течение многих поколений «жили в хороших домах, где они слышали гармонические голоса и музыку». Я позволяю себе нескромный вопрос: принад-

лежит ли к числу таких людей сам доктор Стокман? Насчет его предков нет решительно никаких указаний в пьесе Ибсена; но вряд ли Стокманы были аристократами. А что касается его собственной жизни, то она была, в значительной своей части, полною лишений жизнью интеллигента – пролетария. Выходит, что он гораздо лучше сделал бы, если бы оставил предков в покое, как советовал когда-то крыловский мужик своим гусям. Пролетарий-интеллигент силен, – когда силен, – не предками, а теми новыми знаниями и идеями, которые приобретает он сам в течение своей собственной более или менее трудовой жизни.

Но в том-то и дело, что мысли доктора Стокмана и не новы, и несостоятельны. Это – пестрые мысли, как сказал бы покойный Каронин. Наш доктор воюет с «большинством». Из-за чего же возгорелась война?

Из-за того, что «большинство» не хочет предпринять тех радикальных перестроек в водолечебном заведении, которые безусловно необходимы в интересах больных.

Но раз это так, то доктору Стокману легко было бы догадаться, что «большинством-то» в данном случае являются именно больные, стекающиеся в городок со всех сторон, между тем как восстающие против перестроек жители городка играют по отношению к ним роль меньшинства. Если бы он заметил это, – а заметить это, повторяю, было очень легко: это бросалось в глаза, – то он увидел бы, что греметь против «большинства» в данном случае совершенно бессмыс-

ленно. Но это еще не все. Из кого состояло в городке то «компактное большинство», с которым пришел в столкновение наш герой? Во-первых, из акционеров водолечебного заведения; во-вторых, из домовладельцев; в-третьих, из газетчиков и типографщиков, держащих нос по ветру, наконец, в-четвертых, из городского плебса, находящегося под влиянием этих трех элементов и потому слепо идущего за ними. Сравнительно с первыми тремя элементами плебс составляет, конечно, большинство в компактном «большинстве». Если бы доктор Стокман обратил на это свое просвещенное внимание, то он сделал бы открытие, гораздо более нужное для него, чем то, которое он делает у Ибсена: он увидел бы, что истинным врагом прогресса является не «большинство», против которого он гремит, к радости анархистов, а лишь неразвитость этого большинства, обусловленная зависимым положением, в котором его держит экономически-сильное меньшинство. А так как наш герой говорит анархический вздор не по злой воле, а тоже единственно по неразвитости, то он, сделав это открытие и благодаря ему подвинувшись довольно далеко в своем развитии, стал бы греметь уже не против большинства, а именно против экономически сильного меньшинства. Тогда ему перестали бы, может быть, рукоплескать анархисты; но зато за него была бы тогда истина, которую он всегда любил, но которой он никогда не понимал по причине уже указанной своей неразвитости.

Анархисты недаром рукоплещут доктору Стокману. Его

мышление отличается тем же самым недостатком, которым характеризуется их собственный образ мыслей. Наш честный доктор мыслит в высшей степени отвлеченно. Он знает только абстрактную противоположность между истиной и заблуждением; он, толкующий о предках пуделей, не догадывается о том, что сама истина может принадлежать к различным категориям, в зависимости от своего происхождения.

Между нашими крепостниками «эпохи великих реформ», наверно, встречались люди гораздо более просвещенные, чем их «крещеная собственность». Такие люди не думали, конечно, что гром вызывается прогулками по небу пророка Ильи в его колеснице. И если бы речь зашла о причинах грозы, то истина оказалась бы на стороне меньшинств а, – просвещенных крепостников, – а не на стороне большинства, – непросвещенной крепостной «черни». Ну, а что было бы, если бы речь зашла о крепостном праве? Было бы то, что большинство, – те же непросвещенные крестьяне, – высказывалось бы за его отмену, а меньшинство, – те же просвещенные крепостники, – закричало бы, что отменить его значит – потрясти все самые «священные основы». На чьей же стороне была бы тут истина? Мне сдается, что она была бы не на стороне просвещенного меньшинства. О своем собственном деле человек, – или класс, сословие, – судит далеко не всегда безошибочно. Тем не менее мы имеем все основания сказать, что когда человек, – или сословие, класс, – судит о своем собственном деле, то у нас есть несравненно боль-

ше шансов услышать правильное суждение об этом деле от этого человека, чем от того, хотя бы и более просвещенного лица, которое заинтересовано в том, чтобы изображать это дело в превратном виде. А если это так, то ясно, что там, где речь заходит об общественных отношениях, – а следовательно, и об интересах различных классов или слоев населения, – было бы величайшим заблуждением думать, что меньшинство всегда право, а большинство всегда заблуждается. Совершенно наоборот. Общественные отношения складывались до сих пор так, что большинство эксплуатировалось меньшинством. Поэтому в интересах меньшинства было искажать истину во всем том, что касалось этого основного факта общественных отношений.

Эксплуатирующее меньшинство не могло не лгать или, – так как оно лгало не всегда сознательно, – было лишено возможности не заблуждаться. А эксплуатируемое большинство не могло чувствовать, где, – как выражаются немцы, – башмак жмет ему ногу, и не могло не желать исправления башмака. Иначе сказать, объективная необходимость поворачивала глаза большинства в сторону истины, а глаза меньшинства – в сторону заблуждения. А на этом основном заблуждении эксплуатирующего меньшинства возводилась целая и чрезвычайно сложная надстройка побочных его заблуждений, мешающих ему смотреть истине прямо в глаза. Вот почему нужна была бы вся наивность доктора Стокмана, чтобы ожидать от этого меньшинства чуткого отношения к истине

и бескорыстного служения ей.

## II

«Но эксплуатирующее меньшинство, это вовсе не лучшие люди, – возразил бы мне доктор Стокман. – Лучшие люди это – мы интеллигенты, живущие своим собственным, а не чужим, умственным трудом и неуклонно стремящиеся к истине».

Положим. Но вы, «интеллигенты», не падаете с неба, а представляете собою плоть от плоти и кость от костей породившего вас общественного класса. Вы являетесь идеологом этого класса. Аристотель был самым несомненным «интеллигентом», а между тем он только возводил в теорию взгляды современных ему просвещенных греческих рабовладельцев, когда говорил, что сама природа одних людей осуждает на рабство, а других – предназначает к господству.

Какая интеллигенция играла революционную роль в обществе?

Та, – и только та, – которая в вопросах, касавшихся общественных отношений, умела встать на сторону эксплуатируемого большинства и отказаться от презрения к толпе, так часто свойственного «интеллигенту».

Когда аббат Сийес писал свою знаменитую брошюру: «Что такое третье сословие? в которой он доказывал, что это сословие есть «вся нация за исключением привилегированных», он выступал в качестве передового «интеллигента»

и был на стороне угнетенного большинства.

Но тогда он покидал точку зрения отвлеченной противоположности между истиной и заблуждением и становился на почву конкретных общественных отношений.

А наш милый доктор Стокман все выше и выше взбирается в область абстракции и даже не подозревает, что там, где затрагиваются общественные вопросы, к истине надо идти совсем иным путем, чем в вопросах естествознания. По поводу его рассуждений мне вспоминается замечание, сделанное Марксом в первом томе «Капитала» о натуралистах, берущихся без надлежащей методологической подготовки за разрешение общественных вопросов.

Эти люди, мыслящие материалистически в своей специальности, оказываются чистейшими идеалистами в общественной науке.

Чистейшим идеалистом оказывается и Стокман в своих «естественнонаучных» рассуждениях о свойствах народной массы. По его словам, он открыл, что масса не может свободно мыслить. Почему же? А вот послушайте, но не забудьте при этом, что для Стокмана свободомыслие значит «почти то же», что и нравственность.

«К счастью, все это лишь старая, традиционная ложь, будто культура деморализует. Нет, деморализует тупость, нищета, безобразие житейских условий. В доме, где не метут, не проветривают ежедневно, – моя жена Катерина утверждает, что нужно даже ежедневно подмывать пол, но об этом еще

можно поспорить, – ну, так в таком доме, говорю я, люди в какие-нибудь два-три года теряют способность мыслить и поступать нравственно. От недостатка кислорода и совесть чахнет. И, пожалуй, во многих домах у нас в городе сильная нехватка в кислороде, раз это сплоченное большинство может быть настолько бессовестно, что готово строить свой достаток на трясине лжи и обмана».

Выходит, что если акционеры водолечебного заведения и домовладельцы хотят обманывать больных, – а мы уже знаем, что почин обмана принадлежит именно представителям акционеров, – то это объясняется их бедностью, которая ведет за собою недостаток чистого воздуха в их домах; если наши министры всеми неправдами служат реакции, то это происходит потому, что редко подметается пол в их роскошных казенных квартирах, а если наши пролетарии возмущаются министерскими неправдами, то это вызывается тем, что они вдыхают много кислорода... особенно тогда, когда их выбрасывают из домов на улицу во время безработицы. Здесь доктор Стокман доходит до Геркулесовых столбов в беспредельном море путаницы понятий. И здесь яснее, чем где-нибудь, обнаруживаются слабые стороны его отвлеченного мышления. Что нищета является источником испорченности, и что ошибаются те люди, которые относят испорченность на счет «культуры», это, конечно, совершенно справедливо. Но, во-первых, неправда то, что всякая испорченность объясняется бедностью, и что «культура» при вся-

ких обстоятельствах облагораживает людей. Во-вторых, как ни велико развращающее влияние нищеты, однако «недохватка в кислороде» не мешает пролетариату наших дней быть несравненно более отзывчивым, чем все другие общественные классы, по отношению ко всему тому, что в настоящее время является самым передовым, истинным и благородным. Сказать, что данное общество бедно, еще не значит определить, как влияет бедность на его развитие. Недохватка в кислороде всегда будет отрицательной величиной в алгебраической сумме общественного развития. Но если этот недостаток обуславливается не слабостью общественных производительных сил, а общественными отношениями производства, ведущими к тому, что производители бедствуют, между тем как присвоители не знают предела своим прихотям и своему мотовству, – словом, если причина «недохватки» лежит в самом обществе, тогда она, отупляя и развращая некоторые слои населения, порождает революционную мысль и возбуждает революционное чувство в главной его массе, ставя ее в отрицательное отношение к существующему общественному порядку. Это именно то, что мы видим в капиталистическом обществе, в котором на одном полюсе накапливается богатство, а на другом – бедность, а вместе с бедностью также революционное недовольство своим положением и понимание условий своего освобождения. Но наивный доктор не имеет об этом ни малейшего представления. Он решительно не способен понять, каким образом

пролетарий может мыслить и поступать благородно, несмотря на то, что дышит плохим воздухом, и что пол в его жилище часто оставляет желать очень многого в смысле чистоты. Вот почему Стокман, не переставая мнить себя самым передовым мыслителем, стоящим «на аванпостах человечества», объявляет в своей речи бессмыслицей то учение, согласно которому масса, чернь, серая толпа, составляет ядро общества... «Что рядовые из этой толпы, эти невежественные и неразвитые члены общества, имеют те же права судить-рядить, одобрять, отвергать, ведать и править, как единичные личности, представители умственной аристократии...» И вот почему этот представитель «умственной аристократии» выдвигает, как самоновейшее открытие, тот вывод, который еще Сократом выдвигался против демократии: «Из каких людей составляется большинство в стране? из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное подавляющее большинство на всем земном шаре. Но правильно ли, чтобы глупые управляли умными?». Один из присутствующих на собрании рабочих восклицает при этом: «Долой человека, говорящего такие вещи!». Он искренно принимает Стокмана за врага народа. И он по-своему прав.

Доктор, разумеется, нисколько не желал зла народу, когда требовал коренной перестройки водолечебницы. Совсем нет, в этом случае он был врагом не народа, а его эксплуататоров. Но, вовлеченный в борьбу с этими эксплуататорами,

он, по недоразумению, выдвигает против них такие доводы, которые придуманы были людьми, боявшимися господства народа. Он начинает говорить, сам того не желая и не замечая, как враг народа, как защитник политической реакции.

Интересно, что у Бьернсона, во второй части его драмы «Сверх сил», в духе доктора Стокмана высказывается уже настоящий и сознательный «враг народа», эксплуататор по призванию, предприниматель Гольгер.

В беседе с Рахилью (во втором акте) он говорит, что мир будет прекрасен только тогда, когда предоставлено будет свободно действовать людям, одаренным умом и волей, и когда перестанут прислушиваться к утопиям и к болезненным фантазиям толпы и массы. «Необходимо вернуться назад (sic! Г. П.) и предоставить власть только тем, которые имеют мужество и гений. Я не знаю, когда кончится борьба, но что я могу с уверенностью сказать вам, это то, что победит личность, а не масса».

В другом месте, – на собрании предпринимателей в третьем действии, – он смеется над рабочими, которые, рассказывая свои, известные вам (т. е. тем же предпринимателям. Г. П.) истории, говорят: «Мы – большинство, мы должны иметь власть». Но Гольгер замечает, что насекомые тоже многочисленны. «Нет, милостивые государи, если бы, благодаря голосованию или чему-нибудь другому, власть оказалась в руках подобного большинства, – большинства, не знающего, что такое порядок, лишённого духа последователь-

ности, привычки к делам, наконец, всех традиций ума и искусства, необходимых для нашей организации, нам оставалось бы сделать только одно: холодно, решительно мы ответили бы им криком: пушки вперед!».

Это, по крайней мере, ясно и последовательно. Добрейший доктор Стокман, наверно, с величайшим негодованием осудил бы такую последовательность. Он хочет истины, а не кровопролития. Но в том-то и дело, что он сам не понимает истинного смысла своих разглагольствований о всеобщем избирательном праве. Он в своей изумительной наивности воображает, что сторонники этого права хотят решать посредством всеобщего голосования вопросы науки, а не вопросы общественной практики, теснейшим образом связанные с интересами массы и решаемые вопреки этим интересам, если масса не имеет права решать их согласно с ними. Интересно, что этого до сих пор не понимают и анархисты.

Бьернсон даже во вторую эпоху своей литературной деятельности, т. е. когда он отказался от своих прежних религиозных верований и перешел на точку зрения современного естествознания, – далеко не совсем отделался от абстрактного взгляда на общественные вопросы. Но в указанную эпоху он все-таки грешил этим грехом несравненно меньше, чем Ибсен. Хотя этот последний и говорит в одном своем заявлении, относящемся к 1890 году, что он, поскольку позволяли ему его способности и обстоятельства, старался ознакомиться с «социал-демократическими вопросами», и что

он только не имел возможности изучать «обширную литературу, относящуюся к различным социалистическим системам»<sup>4</sup>, но по всему видно, что «социал-демократические вопросы» остались совершенно недоступными его пониманию, если не в том, что касается решения тех или других из них в отдельности, то в том, что касается самого метода их решения. По отношению к методу Ибсен всегда оставался идеалистом чистейшей воды<sup>5</sup>.

Уже этим создавалось много шансов ошибки. И это пока еще не все. Ибсен не только держался идеалистического метода решения общественных вопросов, но в его уме эти вопросы всегда получали слишком узкую формулировку, не соответствующую широкому размаху общественной жизни в современном капиталистическом обществе. И этим окончательно уничтожалась всякая возможность найти правильное решение.

---

<sup>4</sup> Henrik Ibsens sämtliche Werke, erster Band, S. 510.

<sup>5</sup> Ля-Шенэ говорит об Ибсене («Mercure de France», 15 juin 1906): «он прилагал научный метод с возрастающей строгостью». Это показывает, что сам Ля-Шенэ относится к вопросу о методе без всякой «строгости». На самом деле, будто бы научный метод Ибсена, совершенно негодный при решении общественных вопросов, был неудовлетворителен даже и в применении к вопросам индивидуального характера. Вот почему врач Нордау мог упрекнуть его во многих грубых ошибках. Впрочем, сам Нордау смотрит на литературные явления слишком отвлеченно.

### III

В чем же тут дело? Чем обуславливались эти роковые промахи мысли у человека чрезвычайно даровитого, умного и обладавшего к тому же самой неподдельной и самой сильной жаждой истины?

Все дело тут во влиянии на мирозерцание Ибсена той общественной среды, в которой он родился и вырос.

Виконт де-Колльвилль и Ф. Зепелэн, – авторы довольно интересной книги: «Le maître du drame moderne – Ibsen», – очень презрительно относятся к мысли о том, что мирозерцание великого норвежского драматурга сложилось под влиянием «пресловутой среды, дорогой Тэну»<sup>6</sup>. Они думают, что Норвегия «вовсе не была той средой, в которой развился гений Ибсена»<sup>7</sup>. Но их решительно опровергает материал, собранный в их собственной книге.

Вот, например, они сами говорят, что некоторые драмы Ибсена целиком были «зачаты» им под влиянием воспоминаний своего детства. Разве же это не влияние среды? А кроме того, посмотрите, как они сами характеризуют ту социальную среду, в которой родился, рос и развивался Ибсен. Эта среда, – говорят они, – отличалась «безнадежной баналь-

---

<sup>6</sup> Introduction, p. 15.

<sup>7</sup> Ibidem, p. 16.

ностью»<sup>8</sup>. Приморский городок Гримстад, в котором протекали юношеские годы Ибсена, выходит в их описании классическим местом пошлости и скуки. «Все источники существования этого городка заключались в его гавани и в его торговле. В подобной среде мысли не поднимаются выше уровня материальной жизни, и если обыватели выходят иногда из дому, то делают это единственно затем, чтобы справиться, когда приходят суда, и заглянуть в биржевой бюллетень... Все знают друг друга. Стена частной жизни прозрачна в подобных отвратительных дырах, как стекло. Богатому человеку все почтительно кланяются, человека зажиточного приветствуют уже не так торопливо, а на поклон рабочего или крестьянина отвечают сухим кивком головы»<sup>9</sup>. Все делается там до крайности медленно: чего не сделали сегодня, можно сделать завтра. Все, уклоняющееся от обычных привычек жизни, подвергается строгому порицанию; все оригинальное кажется смешным, все эксцентричное – преступным<sup>10</sup>. А Ибсен уже тогда отличался склонностью к оригинальности и к эксцентричности.

Не трудно догадаться, как должен был он чувствовать себя среди этих мещан. Они раздражали его; он раздражал их. «Мои друзья, – говорит о себе сам Ибсен в предисловии ко второму изданию «Каталины», – находили меня чу-

---

<sup>8</sup> Le maître du drame moderne etc., p. 29.

<sup>9</sup> Ibid., p. p. 36–37.

<sup>10</sup> Ibid., p. 37.

даком; мои враги очень возмущались тем, что человек, занимающий такое низкое общественное положение<sup>11</sup>, позволяет себе судить о вещах, о которых они сами не смеют иметь свое суждение. Я прибавлю, что мое бурное поведение иногда оставляло обществу мало надежды на то, что я когда-нибудь усвою себе буржуазные добродетели... Словом, между тем как мир был взволнован революционной идеей, я находился в открытой войне с тем маленьким обществом, в котором я жил по воле судьбы и обстоятельств».

Не лучше жилось Ибсену и в столице Норвегии, Христиании, где он впоследствии поселился. И в ней пульс общественной жизни бился с безотрадной медленностью. «В начале этого (т. е. XIX. Г. П.) века, – говорят де-Колльвилль и Зепелэн, – Христиания была маленьким городком с шеститысячным населением. С быстротой, напоминающей развитие американских городов, она сделалась городом с населением около 180.000, но сохранила всю свою прежнюю мелочность: в ней продолжали процветать сплетни, пересуды, клеветы и низости. В ней превозносили посредственность и не признавали истинного величия. Можно было бы составить целый том из статей, посвященных скандинавскими писателями некрасивым сторонам жизни норвежской столицы<sup>12</sup>.

Ибсен продолжал задыхаться здесь, как задыхался он в

---

<sup>11</sup> Ибсен был в Гримстаде аптекарским учеником.

<sup>12</sup> Ibid., p. 75.

Гримстаде. А когда началась датско-германская война, чаша его терпения переполнилась. На словах норвежцы полны были скандинавского патриотизма и готовы были всем пожертвовать для общего блага трех скандинавских народов. Но на деле они не оказали ровно никакой помощи Дании, которая скоро была побеждена своими сильными противниками. В пламенном стихотворении «Брат в беде», написанном в декабре 1863 года, Ибсен заклеил пустую фразеологию скандинавского патриотизма; «и с этих пор, – говорит один из его немецких биографов, – в его сердце закралось презрение к людям»<sup>13</sup>. Во всяком случае он проникся полным презрением к своим согражданам. «Тогда отвращение Ибсена дошло до крайней степени, – говорит де-Колльвилль и Зепелэн, – он понял, что для него уехать из такой страны стало вопросом жизни и смерти»<sup>14</sup>. Кое-как уладив свои материальные дела, он «отряхнул прах от ног своих» и уехал за границу, где оставался почти до самой своей смерти.

Уже эти немногие данные показывают, что, вопреки нашим французским авторам, общественная среда должна была наложить очень заметную печать на жизнь и на мирозерцание Ибсена, а следовательно, и на его литературные произведения.

Говоря это, я прошу читателя помнить, что влияние всякой данной общественной среды испытывает на себе не толь-

---

<sup>13</sup> Dr Rudolph Lothar, «Ibsen», Leipzig-Wien 1902, 58.

<sup>14</sup> Le maître etc., p. 78.

ко тот, кто уживается с нею, но также и тот, кто объявляет ей войну.

Мне могут возразить: «Однако же, вот Ибсен не ужился с той самой средой, с которой прекрасно уживалось огромное большинство его сообщественников». На это я отвечу, что воевали с этой средой довольно многие норвежские писатели, но что, разумеется, Ибсен вел с нею войну на свой особый, личный лад. Но я ведь и не отрицаю значения личности в истории вообще и в истории литературы в частности. Ведь без личностей не было бы и общества, а значит не было бы и истории. Когда данная личность протестует против окружающей пошлости и неправды, тут непременно сказываются ее умственные и нравственные особенности: ее проницательность, ее чуткость, ее отзывчивость и т. п. Каждая личность своей особой походкой идет по дороге протеста. Но куда ведет эта дорога, это зависит от общественной среды, окружающей протестующую личность. Характер отрицания определяется характером того, что подвергается отрицанию.

Ибсен родился, вырос и возмужал в мелкобуржуазной среде, и характер его отрицания был, так сказать, предопределен характером этой среды.

К числу отличительных нравственных свойств такой среды принадлежит, – как мы уже видели это, – ненависть ко всему оригинальному, ко всему тому, что хоть немного расходится с установившимися общественными привычками. Еще Милль жаловался когда-то на тиранию общественного

мнения. Но Милль был англичанин, а в Англии мелкая буржуазия не имеет господствующего влияния. Чтобы узнать, да чего может доходить тирания общественного мнения, надо пожить в одной из мелкобуржуазных стран Западной Европы. Против этой-то тирании и восстал Ибсен. Мы видели, что двадцатилетним юношей, живя в Гримстаде, он уже воевал с «обществом» и колот его эпиграммами, насмеялся над ним карикатурами.

Сохранилась записная книжка молодого Ибсена, в которой есть рисунок, изображающий «общественное мнение» – своего рода символ. Как вы думаете, читатель, каково содержание этого рисунка? Толстый буржуа, вооруженный кнутом, гонит двух свиней, которые шествуют, бодро задрав вверх хвосты, выющиеся спиралью<sup>15</sup>. Я не скажу, чтобы этот первый опыт Ибсена в области художественного символизма был очень удачен: мысль автора выражена неясно. Но присутствие в рисунке свиней ручается нам за то, что это была во всяком случае до-крайности непочтительная мысль.

Беспредельная, всевидящая и мелочная тирания мелкобуржуазного общественного мнения приучает людей к лицемерию, ко лжи, к сделкам со своею совестью; она принижает их характеры, делает их непоследовательными, половинчатыми. И вот Ибсен, поднимающий знамя восстания против этой тирании, выдвигает требование правды во что бы тони стало и заповедь: «будь самим собою». Бранд говорит:

---

<sup>15</sup> Dr. Rudolph Lothar, 1. c., S. 9.

Будь чем хочешь ты, но будь вполне; будь цельным, не половинчатым, не раздробленным! Вакхант, Силен – понятный, цельный образ, но пьяница – карикатура лишь. Пройдись-ка по стране, людей послушай – узнаешь, что здесь каждый научился быть понемножку всем – и тем, и сем: серьезным в праздники за службой в церкви, упорным, – где обычаев коснется таких, как ужинать на сон грядущий, да плотно, как отцы и деды наши! Горячим патриотом на пирах – под звуки песен о скалах родимых и твердом, как скала, народе нашем, не знавшем рабского ярма и палки; натурою широкой, тароватой – на обещания за винной чашей; прижимистым при обсуждении трезвом – исполнить их иль нет. Но тем иль сем лишь понемножку всяк бывает; ни добродетели в нем, ни пороки всего не заполняют «я»; он – дробь и в малом, и в большом, и в злом, и в добром. Всего же хуже то, что убивает любая дробь остаток весь.

Некоторые критики<sup>16</sup> говорят, что «Бранд» был написан Ибсеном под влиянием некоего пастора Ламмерса и особенно под влиянием известного датского писателя Серена Киркегорда. Это вполне возможно. Но это, конечно, нисколько не умаляет справедливости того, что я здесь утверждаю. Пастор Ламмерс и Серен Киркегорд имели дело, каждый в своей области, с такою же средою, с какою боролся Ибсен. Неудивительно, что их протест против этой среды был отчасти по-

---

<sup>16</sup> Рудольф Лотар, 1. с., S. 8. 62–63.

добен его протесту.

Я не знаком с сочинением Серена Киркегорда. Но насколько я могу судить об его взглядах на основании того, что сообщает о них Лотар, заповедь: «будь самим собой» вполне могла быть заимствована у С. Киркегорда. Задача человека состоит в том, чтобы быть отдельным лицом, чтобы сосредоточить самого себя в самом себе. Человек должен стать тем, что он есть; его единственная задача заключается в том, чтобы избрать самого себя в «богоугодном самоизбрании», подобно тому, как единственная задача жизни заключается в ее саморазвитии. Истина состоит не в том, чтобы знать истину, а в том, чтобы быть истиной. «Субъективность выше всего» и т. д., и т. д.<sup>17</sup>. Все это, в самом деле, очень похоже на то, что проповедовал Ибсен, и все это доказывает лишний раз, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия.

В мелкобуржуазном обществе лица, «дух» которых склонен к «бунту», не могут не быть редкими исключениями из общего правила. Такие лица часто горделиво называют себя аристократами, и они действительно похожи на аристократов в двух отношениях: во-первых, они выше других в духовном отношении, как настоящие аристократы выше других по своему привилегированному общественному положению; во-вторых, они так же, как настоящие аристократы, стоят уединенно, потому что их интересы не могут быть интересами большинства, а чаще всего враждебно сталкиваются

---

<sup>17</sup> Ibid., S. 63.

с этими последними. Но разница в том, что настоящая, историческая аристократия, в лучшую пору своего развития, господствовала над всем тогдашним обществом, между тем как духовные аристократы мелкобуржуазной общественной среды не пользуются почти никаким влиянием на нее. Эти «аристократы» не представляют собою общественной силы: они остаются отдельными личностями. Зато тем усерднее предаются они культуре личности.

Среда вырабатывает из них индивидуалистов, и они, ставши таковыми, делают, по известному французскому выражению, добродетель из необходимости и возводят индивидуализм в принцип, принимая за признак своей личной силы то, что составляет следствие их изолированного положения в мелкобуржуазном обществе.

Борцы против мелкобуржуазной половинчатости, они сами нередко являются надломленными и раздвоенными. Но зато между ними попадаются великолепные экземпляры породы последовательных людей. Таким экземпляром, вероятно, был упоминаемый Лотаром пастор Ламмерс; таким же был, может быть, Серен Киркегорд и таким был, наверно, Ибсен. Он весь без остатка одержим был своим литературным призванием. То, что он писал Брандесу о друзьях, поистине трогательно. «Друзья – слишком дорогая роскошь, и тому, кто весь свой капитал вложил в свое призвание, в миссию своей жизни, тому не по карману обзаводиться друзьями. Слишком дорого обходятся друзья не в силу того, что

делаешь для них, а в силу того, что из-за них отказываешься сделать». Таким путем можно прийти, – как и пришел Гете, – к страшному эгоизму. Но этот путь во всяком случае проходит через полное, всестороннее увлечение своим званием.

И совершенно таким же великолепным экземпляром породы цельных людей был духовный сын Ибсена, Браня. Когда он гремит против мелкобуржуазной умеренности, против филистерского отделения слова от дела, он прекрасен. Мелкий буржуа и бога создает себе по своему образу и подобию: в очках, в туфлях и в ермолке.

Бранд говорит Эйнору:

О, я не насмехаюсь. Такой ведь именно имеет облик народный бог наш, бог отцов и дедов. Спасителя в ребенка превращают католики; вы – бога в старика, готового от дряхлости впасть в детство. Как у наместника Петра, у папы в руках ключи от рая превратились в отмычки попросту, так вот у вас Господне царство сузилось в церковь; от веры, от учения Господня вы отделили жизнь, и в ней никто христианином быть уж не берется; в теории вы христианство чтите, в теории стремитесь к совершенству, живете ж по иным совсем заветам. И бог такой вам нужен, чтоб сквозь пальцы смотрел на вас. Как самый род людской, он должен был состариться, и можно его изобразить в очках и лысым. Но этот бог – лишь ваш и твой, не мой! Бог мой, он – буря там, где ветер твой; неумолим, где твой лишь равнодушен;

и милосерд, где твой лишь добродушен, Бог мой, – он юн; скорее Геркулес, чем дедушка. Бог мой, – он у Синая, как гром, гремел Израилю с небес, горел кустом терновым, не сгорая пред Моисеем на горе Хорив, остановил бег солнца при Навине и чудеса творил бы и поныне, не будь весь род людской так туп, ленив!

Устами Бранда Ибсен клеймит мелкобуржуазное лицемерие, мирящееся со злом будто бы во имя любви:

Нет более опошленного слова, забрызганного ложью, чем – любовь! Им с сатанинской хитростью людишки стараются прикрыть изъяны воли, маскировать, что в сущности их жизнь – трусливое заигрывание с смертью! Путь труден, крут – его укоротить велит... любовь! Идем дорогой торной греха – надеемся спастись... любовью! Мы видим цель, но – чтоб достичь ее, зачем борьба? Мы победим... любовью! Заблудимся, хотя дорожку знаем – убежище нам все же дает... любовь!

Тут я от души сочувствую Бранду: как часто ссылаются на любовь противники социализма! Как часто упрекают они социалистов за то, что у тех любовь к эксплуатируемым рождает ненависть к эксплуататорам! Добрые люди советуют любить всех: и мух, и пауков, и угнетателей, и угнетенных. Ненависть к угнетателям «негуманна». Бранд – т. е. Ибсен – хорошо знает цену этому опошленному слову.

Гуманность – вот бессильное то слово, что стало лозунгом для всей земли. Им, как плащом, ничтожество

любое старается прикрыть и неспособность и нежелание подвиг совершить; любой трусишка им же объясняет боязнь – победы ради, всем рискнуть. Прикрывшись этим словом, с легким сердцем свои обеты нарушает всякий, кто в них раскаяться успел трусливо. Пожалуй, скоро по рецепту мелких, ничтожных душ все люди превратятся в апостолов гуманности! А был ли гуманен к сыну сам Господь отец? Конечно, если бы распорядился тогда бог ваш, он пощадил бы сына, и дело искупления свелось бы к дипломатической небесной «ноте»!

Все это превосходно. Так рассуждали великие деятели великой французской революции. И здесь сказывается родство духа Ибсена с духом великих революционеров. И все-таки напрасно Р. Думик называет мораль Бранда революционной моралью. Мораль революционеров имеет конкретное содержание, а мораль Бранда, – как мы уже знаем, – бессодержательная форма. Выше я сказал, что Бранд со своей бессодержательной моралью попадает в смешное положение человека, доящего козла. Скоро я постараюсь социологически объяснить, как попадает он в такое неприятное положение. Но теперь я должен заняться еще некоторыми чертами характера интересующей нас породы общественного человека.

Духовные аристократы мелкобуржуазного общества нередко считают себя избранными людьми, как сказал бы Ницше, сверхчеловеками. А смотря на себя, как на избран-

ных людей, они начинают смотреть сверху вниз на «толпу», на массу, на народ. Избранному человеку все позволено.

Это, собственно, к ним относится заповедь: «будь самим собой». Для обыкновенных смертных существует другая мораль. Вильгельм Ганс справедливо заметил, что у Ибсена те, которые не имеют никакого призвания, оказываются призванными лишь к тому, чтобы жертвовать собою<sup>18</sup>. Король Скуле говорит в «Борьбе за престол»: «Есть рожденные для того, чтобы жить, и есть люди, рожденные для того, чтобы умереть». Для жизни рождаются именно избранные люди.

Что касается до пренебрежительного взгляда наших аристократов на толпу, то нам нет нужды далеко ходить за примером: мы еще хорошо помним замечательную речь доктора Стокмана.

---

<sup>18</sup> Schicksal und Wille, München 1906, S. 56.

## IV

Доктор договаривается до реакционного вздора. И это, разумеется, не делает чести Ибсену, который подсказывает Стокману его речь. Но не надо упускать из виду одно обстоятельство, очень значительно смягчающее вину Ибсена. Норвежский драматург выдвинул своего героя против мелкобуржуазного общества, в котором «сплоченное большинство» в самом деле состоит из закоренелых филистеров.

Если в новейшем обществе, – т. е. в развитом капиталистическом обществе с его сильным классовым антагонизмом, – большинство, состоящее из пролетариев, является единственным классом, способным беззаветно увлекаться всем истинно передовым и благородным, то ведь такой класс совершенно отсутствует в мелкобуржуазном обществе. Там есть, конечно, богатые и бедные, но бедный слой населения поставлен в такие общественные отношения, которые не будят, а усыпляют его мысль и делают его послушным орудием в руках «сплоченного большинства» более или менее богатых, более или менее зажиточных филистеров. В то время, когда складывались воззрения и определялись стремления Ибсена, рабочий класс, в новейшем смысле этого слова, еще не образовался в Норвегии и потому ничем не напоминал о себе в общественной жизни этой страны: неудивительно, что Ибсен не вспомнил о нем, как о прогрессивной обществен-

ной силе, сочиняя речь для доктора Стокмана. Для него народ был тем, чем он и на самом деле является в классических странах мелкой буржуазии: совершенно неразвитой массой, погруженной в умственную спячку и отличающейся от ведущих ее за нос «столпов общества» только более грубыми манерами и менее чистыми жилищами.

Я не буду повторять, что Стокман ошибается, объясняя умственную спячку бедного слоя населения в мелкобуржуазном обществе «недохваткой кислорода». Я замечу только, что его ошибочное объяснение стоит в теснейшей причинной связи с его идеалистическим взглядом на общественную жизнь. Когда идеалист, подобный доктору Стокману, рассуждает о развитии общественной мысли и хочет держаться почвы науки, он апеллирует к кислороду, к неметеному полю, к наследственности, – словом, к физиологии и патологии индивидуального организма, но ему и в голову не приходит обратить внимание на общественные отношения, которыми и определяется в последнем счете психология всякого данного общества.

Идеалист бытие объясняет сознанием, а не наоборот. И это тоже понятно, по крайней мере, там, где речь идет об «избранных личностях» мелкобуржуазного общества. Они так изолированы в окружающей их общественной среде, и эта среда подвигается вперед таким черепашьим шагом, что у них нет фактической возможности открыть причинную связь между «ходом идей» и «ходом вещей» в человеческом

обществе.

Надо заметить, что в девятнадцатом веке эта связь впервые бросилась в глаза людям науки – историкам и публицистам времен реставрации – главным образом благодаря событиям революционной эпохи, указывавшим на классовую борьбу, как на главную причину всего общественного движения<sup>19</sup>. «Духовным аристократам» почти неподвижного мелкобуржуазного общества суждено сделать только то приятное для их самолюбия открытие, что, не будь их, в обществе совсем отсутствовали бы мыслящие люди. Оттого-то они и смотрят на себя, как на избранных; оттого-то доктор Стокман называет их «людьми-пуделями».

Но как бы то ни было, а реакционный вздор, закравшийся в речь этого доктора, вовсе не доказывает того, что Ибсен сочувствует политической реакции. Если во Франции и Германии некоторая часть читающей публики принимает его за носителя идей господства привилегированного меньшинства над обездоленным большинством, то к чести великого писателя надо сказать, что это огромная ошибка.

Ибсен вообще был равнодушен к политике, а политиков он, по его собственному признанию, просто ненавидел. Его мышление было аполитическим. И это, можно сказать, – главная, отличительная черта его мышления, в свою очередь хорошо объясняющаяся влиянием на него обществен-

---

<sup>19</sup> Подробнее об этом см. в моем предисловии к моему переводу Манифеста Коммунистической Партии [Сочинения, т. XI].

ной среды, но приводящая его к целому ряду самых мучительных и самых безвыходных противоречий.

Какую политику, каких политиков наблюдал и знал наш автор? Политику и политиков того же мелкобуржуазного общества, в котором он чуть не задохнулся и которое он так жестоко бичевал в своих произведениях. А что такое мелкобуржуазная политика? Это – жалкое крохоборство. Что такое мелкобуржуазный политик? Это – мелкий крохобор<sup>20</sup>.

«Передовые» люди мелкой буржуазии выдвигают иногда широкие политические программы, но они отстаивают их вяло и холодно. Они никогда не торопятся; они держатся золотого правила: «поспешай с медленностью». В их сердцах совсем нет места для той благородной страсти, без которой, по прекрасному замечанию Гегеля, не делается ничего великого во всемирной истории. Да им и не нужно страсти, потому что великие исторические подвиги – не их удел. В мелкобуржуазных странах даже широкие политические программы защищаются и побеждают с помощью маленьких средств, так как, благодаря отсутствию резко выраженного классового антагонизма, на пути таких программ не встречается великих социальных препятствий. Политическая свобода покупается здесь по дешевой цене; но зато она здесь и невысока по своему достоинству. Она тоже насквозь пропитывает

---

<sup>20</sup> Говоря это, я имею в виду те страны, где мелкая буржуазия является преобладающим слоем населения. При других общественных условиях мелкая буржуазия может играть и не раз играла революционную роль, но и в этой роли она никогда не была последовательна.

ся филистерским духом, который на практике сплошь и рядом идет совершенно вразрез с ее буквой. Страшно узкий во всем, мелкий буржуа страшно узок и в понимании политической свободы.

Стоит только ему увидеть перед собою конфликт, хоть отчасти похожий на те крупные и грозные столкновения, которыми так богата жизнь новейшего капиталистического общества, – и которые, под разлагающим и увлекающим влиянием более развитых стран, случаются теперь подчас и в мелкобуржуазных «затишьях» Западной Европы, – и он позабудет о свободе и завопит о порядке, и самым постыдным образом, без малейшего зазрения совести, примется нарушать на практике ту свободную конституцию, которой он гордится в теории. У мелкобуржуазного филистера здесь, как и везде, слово расходится с делом. Короче – мелкобуржуазная политическая свобода нисколько не похожа на могучую и неукротимую красавицу, некогда воспетую Барбье в его «Ямбах». Это скорее – спокойная, ограниченная и мелочная Hausfrau.

Человеку, не довольствующемуся домашней, хотя бы и образцово чистой, ежедневно «подметаемой» прозой, трудно увлечься этой солидной матроной. Он скорее совсем откажется от любви к политической свободе, повернется спиной к политике и станет искать удовлетворения в какой-нибудь другой области.

Именно так и поступил Ибсен. Он утратил всякий интерес к политике, а буржуазных политиков он метко изобразил в

«Союзе молодежи» и во «Враге народа».

Замечательно, что еще совсем молодым человеком, живя в Христиании, Ибсен издавал вместе с Боттенем Ганзенем и Осмундом Олафсоном еженедельный журнал «Manden», который был в открытой войне не только с консервативной, но и с оппозиционной партией, причем воевал с этой последней не потому, что был умереннее, чем она, а потому, что находил ее недостаточно энергичной<sup>21</sup>.

В этом же журнале Ибсен напечатал свою первую политическую сатиру «Норма», в которой выводится тип политического карьериста, впоследствии так ярко изображенный им в «Союзе молодежи» (Стенсгард). Видно, что его и тогда уже болезненно поражала слабость идеальных побуждений в деятельности мелкобуржуазных политиканов.

Но и в этой войне с филистерским политиканством Ибсен не переставал «быть самим собою». Г. Лотар говорит, что «политика, которой он придерживался тогда, равно как и впоследствии, имела в виду отдельных людей, отдельных представителей данного направления или данной партии. Она шла от человека к человеку и никогда не была теоретической или догматической»<sup>22</sup>. Но политика, интересующаяся только отдельными людьми, а не теми «теориями» или «догматами», которые представляются ими, не имеет в себе ровно ничего политического. Идя «от человека к человеку»,

---

<sup>21</sup> De Collevilie et Zepelin, Le maître du drame moderne, p. 57.

<sup>22</sup> Ibsen, S. 24.

мысль Ибсена была частью моральной, частью художественной, но она всегда оставалась аполитической.

Свое отношение к политике и к политикам Ибсен сам очень хорошо характеризует следующими словами: «Мы живем крохами, упавшими со стола революции прошлого века, – писал он в 1870 г., – эта пища уже давно жевана и пережевана. Идеи тоже нуждаются в новой пище и в новом развитии. Свобода, равенство, братство – теперь уже не то, чем были в эпоху покойной гильотины».

«Политики упорствуют в непонимании этого. Вот почему я ненавижу их. Они хотят частичных, совершенно поверхностных, политических революций. Пустяки все это. Важен лишь бунт человеческого духа».

Противопоставление политических революций каким-то другим (вероятно социальным), не ограничивающимся поверхностными частностями, несостоятельно. Французская революция, о которой упоминает здесь Ибсен, была одновременно и политической и социальной. И это приходится сказать обо всяком общественном движении, заслуживающем названия революционного. Но не в этом здесь дело. Важно то, что приведенные мною строки как нельзя лучше объясняют нам отрицательное отношение Ибсена к политикам. Он ненавидит их за то, что они ограничиваются пережевыванием крох, упавших со стола великой французской революции; за то, что они не хотят идти вперед; за то, что их взор не проник глубже поверхности общественной жизни. Это как

раз то самое, в чем западноевропейские социал-демократы упрекают мелкобуржуазных политиков (политические представители крупной буржуазии на Западе совсем уже не заикаются ни о каких «революциях»), И поскольку Ибсен делает этим политикам эти упреки, постольку он вполне прав, и постольку его равнодушие к политикам свидетельствует о благородстве его собственных стремлений и о цельности его собственной натуры. Но он полагает, что и не может быть на свете политиков, не похожих на тех, которые действовали в его мелкобуржуазной стране в ту пору, когда складывались его воззрения. И тут он, конечно, заблуждается; тут его ненависть к политикам свидетельствует только об ограниченности его собственного кругозора. Он забывает, что ведь и деятели великой революции тоже были политиками, что ведь и их богатырские подвиги совершались в области политики.

Заключительным аккордом здесь, как и везде у Ибсена, является «бунт духа» ради «бунта духа», увлечение формой совершенно независимо от содержания.

## V

Я сказал, что при указанных мною условиях отрицательное отношение нашего автора к политике свидетельствовало о благородстве его собственных стремлений. Но оно же и завело его в те безвыходные противоречия, на которые я отчасти уже указал, а отчасти укажу ниже.

Глубочайший трагизм положения Ибсена заключается в том, что этот как нельзя более цельный по своему характеру человек, более всего дороживший последовательностью, был осужден вечно путаться в противоречиях.

«Приходилось ли вам когда-нибудь, – спросил однажды Ибсен, находясь в дружеском кругу, – продумать до конца какую-нибудь мысль, не натолкнувшись на противоречие?»<sup>23</sup>. К сожалению, надо предположить, что самому Ибсену это удавалось крайне редко.

Все течет, все изменяется, каждая вещь носит в себе зародыш своего исчезновения. Такой ход вещей, отражаясь в человеческих головах, обуславливает собою то, что каждое понятие включает в себе зародыш своего отрицания. Это – естественная диалектика понятий, основанная на естественной диалектике вещей. Она не сбивает людей, владеющих ею, а, напротив, придает их мысли гибкость и последователь-

---

<sup>23</sup> R. Lothar, l. c., S. 32.

ность. Но противоречия, в которых запутался Ибсен, не имеют к ней ни малейшего отношения. Они обуславливаются уже указанным мною аполитическим характером его мысли.

Отвращение Ибсена к пошлости мелкобуржуазной – частной и общественной – жизни заставляло его искать такой области, где хоть немного могла отдохнуть его правдивая и цельная душа. Сначала он находит такую область в народной старине. Романтическая школа заставила его ознакомиться с этой стариной, в которой все было не похоже на пошлую мелкобуржуазную действительность, в которой все было полно дикой мощи и богатырской поэзии.

Могучие предки современных ему филистеров, норвежские викинги, привлекают к себе его творческую фантазию, и он выводит их в нескольких драматических произведениях. Самым замечательным из этих произведений, без сомнения, является «Борьба за престол». Ибсен, что называется, выносил это произведение в своей душе. План его был набросан еще в 1858 г., а написано оно было только в 1863 г. В нем Ибсен хотел, – как замечают Де-Колльвилль и Зепелэн. – прежде чем уехать из своей страны, «в которой дети викингов стали бедными и эгоистическими буржуа, показать им всю глубину их падения» 2). А кроме того, «Борьба за престол» интересна своей политической идеей: главный герой этой пьесы, король Гаакон Гаконсен, ведет борьбу за объединение Норвегии. Таким образом, здесь мышление нашего, автора перестает быть аполитическим. Но оно не долго

остаётся таковым. Новое время не может жить идеями давно умершей старины. Идеи этой старины не имели никакого практического значения для современников Ибсена. Эти последние любили за стаканом вина вспомнить о своих удачных предках – викингах, а жить продолжали, разумеется, по-новому. Фогт говорит в «Бранде»:

«Великое воспоминание служат залогом роста вперед».

На что Бранд презрительно отвечает ему:

«Да, если с жизнью есть связь живая. Вы ж курган воспоминаний славных превратили в убежище для дряблости душевной».

Таким образом, политические идеи прошлого оказывались бессильными в настоящем, а настоящее не порождало таких политических идей, которые могли бы увлечь Ибсена. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как уйти в область морали. Он и сделал это. С его точки зрения, – с точки зрения человека, знакомого лишь с мелкобуржуазной политикой и презиравшего эту политику, – естественно должно было казаться, что нравственная проповедь – проповедь абстрактного «очищения воли» – несравненно важнее, чем участие в мелочной, развращающей взаимной борьбе мелкобуржуазных партий, воюющих между собою из-за выеденного яйца и неспособных возвыситься мыслью до чего-нибудь более содержательного, чем выеденное яйцо. Но политическая борьба ведется на почве общественных отношений; нравственная проповедь ставит себе целью усовер-

шенствование отдельных лиц. Раз повернувшись спиной к политике и приурочив свои упования к морали, Ибсен естественно встал на точку зрения индивидуализма. А раз перейдя на точку зрения индивидуализма, он естественно должен был окончательно утратить всякий интерес ко всему тому, что выходит за пределы индивидуального самоусовершенствования. Отсюда его равнодушное и даже враждебное отношение к законам, т. е. к тем обязательным нормам, которые в интересах общества или класса, господствующего в обществе, ставят известные пределы личному усмотрению, и к государству, как к источнику этих обязательных норм. По словам фру Альвинг в «Привидениях», ей часто приходит на ум, что в «законном порядке» лежит «причина всех бед на земле».

Правда, она говорит это по поводу того замечания пастора Мандерса, что ее брак был законным браком, но она имеет в виду все законы вообще, все «условности», так или иначе связывающие личность. В немецком переводе ее ответ гласит:

O ja, Gesetz und Ordnung! Zuweilen meine ich,  
die stiften in der Welt alles Unheil an.

Это значит: «О, да! Закон и порядок! Иногда мне кажется, что от них-то и идет все зло на земле». И это именно та сторона мирозерцания Ибсена, которая по внешности сближает его с анархистами.

Мораль ставит себе целью усовершенствование отдель-

ных лиц. Но ее предписания сами коренятся в почве политики, понимая под этим всю совокупность общественных отношений. Человек есть нравственное существо только потому, что он есть, по выражению Аристотеля, существо политическое.

Робинзону на его необитаемом острове не было нужды в нравственности. Если мораль забывает об этом и не умеет построить мост, который вел бы от нее в область политики, то она попадает в целый ряд противоречий.

Индивидуумы совершенствуют себя, освобождают свой дух и очищают свою волю. Это превосходно. Но их усовершенствование или ведет к изменению взаимных отношений людей в обществе, и тогда мораль переходит в политику, или же оно не касается этих отношений, и тогда мораль скоро начинает топтаться на одном месте; тогда нравственное самоусовершенствование отдельных лиц оказывается само себе целью, т. е. утрачивает всякую практическую цель, и тогда усовершенствованные индивидуумы в своих сношениях с другими людьми уже не имеют надобности справляться с моралью. А это значит, что мораль уничтожает тогда сама себя.

Это и случилось с моралью Ибсена. Он твердит: будь самим собою; в этом высший закон, нет греха более тяжкого, чем грех против этого закона. Но ведь и развратный камергер Альвинг в «Призраках» был самим собою; однако из этого ничего, кроме гнусностей, не вышло. Правда, заповедь

«будь самим собою» относится, как мы уже знаем, только к «героям», а не к «толпе». Но мораль героев также должна иметь какие-нибудь правила, а их мы у Ибсена не находим. Он говорит: «Дело не в том, чтобы хотеть того или другого, а в том, чтобы хотеть того, что человек безусловно должен сделать именно потому, что он остается самим собой и не может иначе. Все прочее ведет, только ко лжи». Но беда в том, что и это ведет к самой очевидной лжи.

Весь, неразрешимый, с точки зрения Ибсена, вопрос состоит в том, чего именно данный человек должен хотеть, «оставаясь самим собою». Критерий долженствования заключается не в том, безусловно оно или нет, а в том, куда оно направляется. Всегда оставаться самим собою, не справляясь с интересами других, мог бы только Робинзон на своем острове, да и то лишь до появления Пятницы. Те законы, на которые указывает пастор Мандерс в разговоре с фру Альвинг, действительно представляют собою пустую условность. Но фру Альвинг, т. е. сам Ибсен, жестоко ошибается, воображая, что всякий закон есть не более как пустая и вредная условность. Так, например, закон, ограничивающий эксплуатацию наемного труда капиталом, не вреден, а очень полезен, и мало ли может быть подобных законов? Допустим, что герою все позволено, хотя, разумеется, может быть допущено лишь с самыми существенными оговорками. Но кто же «герой»? Тот, кто служит интересам общего, развитию чело-

вечества, – отвечает за Ибсена Вильгельм Ганс<sup>24</sup>. Очень хорошо. Но, говоря это, мы выходим за пределы морали, покидаем точку зрения индивидуума и становимся на точку зрения общества, на точку зрения политики.

Ибсен делает этот переход, – когда он делает его, – совершенно бессознательно; правил для поведения «избранных» он ищет в их собственной, «автономной» воле, а не в общественных отношениях. Поэтому теория героев и толпы принимает у него совсем странный вид. Его герой Стокман, так высоко ценящий свободу мысли, старается убедить толпу в том, что она не должна сметь свое суждение иметь. Это лишь одно из тех многочисленных противоречий, в которых «безусловно должен» был запутаться Ибсен, ограничив свое поле зрения вопросами морали. Раз мы поняли это, нам становится совершенно понятным весь, во всяком случае замечательный, характер Бранда.

Его творец не умел найти выхода из области морали в политику. Поэтому Бранд тоже «безусловно должен» оставаться в пределах морали. Он «безусловно должен» не идти дальше очищения своей воли и освобождения своего духа. Он советует народу «бороться всю жизнь, до самого конца». А в чем конец? В том, что...

«Станет ваша воля цельной, сильной!...»

---

<sup>24</sup> L. c., S.S. 52–53.

Это – заколдованный круг. Ибсен не сумел, – да и не мог, по указанным уже мною социологическим причинам, – найти в окружавшей его крайне неприглядной действительности точку опоры для приложения «очищенной» воли, средств для перестройки этой неприглядной действительности, для ее «очищения». Поэтому Бранд «безусловно должен» проповедывать очищение воли ради очищения воли, бунт духа – ради бунта духа.

Далее. Мелкий буржуа – прирожденный оппортунист. Ибсен ненавидит оппортунизм всей душой и чрезвычайно выпукло изображает его в своих произведениях. Достаточно вспомнить хотя бы типографщика Аслаксена (во «Враге Народа») с его постоянной проповедью умеренности, которая, по его словам («насколько я, т. е., понимаю»), есть первая добродетель гражданина. Аслаксен, это – типичный мелкобуржуазный политик, проникающий даже в рабочие партии мелкобуржуазных стран. И как естественная реакция против «первой добродетели» Аслаксенов, является гордый девиз Бранда: все или ничего. Когда Бранд гремит против мелкобуржуазной умеренности, он прекрасен. Но, не находя точки приложения для своей собственной воли, он «безусловно должен» впасть в пустой формализм и крохоборство. Когда его жена Агнес, отдав нищей все вещи своего покойного ребенка, хочет сохранить себе на память чепчик, в котором умер малютка, Бранд восклицает:

Идола Богом признала,  
Ну, и служи ему.

Он требует, чтобы Агнес отдала и чепчик. Это было бы смешно, если бы не было жестоко.

Настоящий революционер ни от кого не станет требовать ненужных жертв. Но не станет единственно потому, что у него есть критерий, позволяющий ему отличить нужные жертвы от ненужных. А у Бранда такого критерия нет. Формула: «все или ничего» не может его дать; его надо искать вне ее.

Форма убивает у Бранда все содержание. В беседе с Эйнармом он, защищаясь от подозрения в догматизме, говорит:

Не новое я нечто замышляю, я правду вечную хочу упрочить. Не церковь возвеличить я стремлюсь, не догматы. Имели день свой первый, так, верно, узрят и последний вечер. Начало всякое предполагает конец, так как конца зародыш все, что создано, сотворено и место грядущей форме бытия уступит. Но нечто есть, что существует вечно, – несотворенный дух, попавший в рабство весной первой бытия, обретший свободу вновь, когда от плоти мост он к своему источнику, мост веры несокрушимой смело перебросил. Теперь дух измельчал, благодаря воззрению человечества на Бога; так вот и должно из обрывков душ, обломков жалких

духа воссоздать вновь нечто цельное, чтоб мог узнать в нем своего творения венец, – Адама юного Господь Творец!

Здесь Бранд рассуждает почти как Мефистофель:

Alles, was entsteht, Ist wert, daß es zuGrunde geht

*Все, что возникает, достойно гибели.*

И вывод у них обоих почти одинаковый. Мефистофель умозаключает:

Drum besser wär's, Wenn nichts entstünde

*Потому лучше было бы, если б ничего не возникало.*

Бранд этого прямо не говорит, но он равнодушен ко всему тому, что имело первый день, и что поэтому узрит когда-нибудь свой последний вечер. Он дорожит только тем, что существует вечно. Но что же вечно существует? Движение. В переводе на теологический, т. е., значит, идеалистический язык Бранда это значит, что вечно существует лишь «несовершенный дух». И вот, во имя этого вечного духа, Бранд поворачивается спиной ко всему «новому», т. е. временному. В конечном счете у него получается такое же отрицательное отношение к этому временному, как и у Мефистофеля. Но философия Мефистофеля односторонняя. Этот Geist,

der stets verneint (дух, всегда отрицающий), позабыл, что если бы ничто не возникало, то нечего было и отрицать<sup>25</sup>. Совершенно так же и Бранд не понимает, что вечное движение («несотворенный дух») проявляется только в создании временного, т. е. нового: новых вещей, новых состояний и отношений между вещами. Его равнодушие ко всему новому превращает его в консерватора, несмотря на его святую ненависть к компромиссу. Диалектике Бранда недостает отрицания отрицания, и это делает ее совершенно бесплодной.

Но почему же недостает ей этого необходимого элемента? Тут опять виновата среда, окружавшая Ибсена.

Эта среда была достаточно определена для того, чтобы вызвать в Ибсене отрицательное отношение к ней, но она была недостаточно определена, – потому что слишком неразвита, – для того, чтобы породить в нем определенное стремление к чему-нибудь «новому». Потому-то у него и не было силы произнести волшебные слова, способные вызвать образ будущего. Потому-то он и заблудился в пустыне безвыходного и бесплодного отрицания. Методологическая ошибка Бранда получает, таким образом, свое социологическое объяснение.

---

<sup>25</sup> Гегель очень хорошо говорит в своей большой «Логике», что «das Dasein ist die erste Negation der Negation», то есть данное бытие есть первое отрицание отрицания.

## VI

Но эта ошибка, тоже унаследованная Брандом от Ибсена, не могла не повредить всему творчеству нашего драматурга. Ибсен сказал о себе в речи, произнесенной им в «Союзе для защиты женского дела»: «Я более поэт и менее социальный философ, чем это обыкновенно думают». По другому поводу он заметил, что его намерением всегда было вызвать в читателе такое впечатление, как будто он переживает нечто действительное! И это понятно. Поэт думает образами. Но как представить себе в образе «несотворенный дух?». Тут необходим символ. И вот Ибсен прибегает к символам всякий раз, когда заставляет своих героев блуждать во славу «несотворенного духа» в области отвлеченного самоусовершенствования. Но на его символах неизбежно отражается бесплодность их блуждания. Они бледны, в них слишком мало «живой жизни»: они – не действительность, а лишь отдаленный намек на нее.

Символы – слабая сторона в творчестве Ибсена. Его сильной стороной является бесподобное изображение мелкобуржуазных героев. Тут он является несравненным психологом. Изучение этой стороны его произведений необходимо для всякого, желающего изучить психологию мелкой буржуазии. В этом отношении внимательное изучение Ибсена обяза-

тельно для всякого социолога<sup>26</sup>. Но как только мелкий буржуа начинает «очищать свою волю», он превращается в назидательно-скучную отвлеченность. Таков консул Берник в последней сцене «Столпов общества».

Ибсен и сам не знал, да и не мог знать, что предпринять ему со своими отвлеченностями. Поэтому он или опускает занавес тотчас после их просветления, или же губит их где-нибудь на высокой горе от обвала. Это напоминает, как Тургенев уморил Базарова и Инсарова, не зная, что именно можно было предпринять с ними. Но у Тургенева это сживание со света своих героев вызывалось незнанием того, как действовали русские нигилисты и болгарские революционеры. А у Ибсена дело было в том, что и нечего было делать людям, занимающимся самоочищением ради самоочищения.

Гора рождает мышь. Это часто случается в драмах Ибсена. И не только в драмах, а и во всем его мирозерцании.

---

<sup>26</sup> Одна из самых интересных черт мелкобуржуазной психологии замечается у нашего хорошего знакомого, доктора Стокмана. Он не нарадуется на дешевый комфорт своей квартиры и на сытость своего, недавно приобретенного положения. Он говорит своему брату бургомистру:— Да, да, можешь себе, я думаю, представить, что нам таки туго приходилось там (на старом месте. Г. П.). А теперь живем, как помещики! Сегодня, например, у нас за обедом был ростбиф. Еще и на ужин осталось. Не отведаешь ли кусочек? Или дай хоть показать тебе его... Поди сюда. Бургомистр. Нет, нет, ни в коем случае... Доктор Стокман. Ну, так иди сюда. Видишь, мы обзавелись новой скатертью. Бургомистр. Да, заметил. Доктор Стокман. И абажуром. Видишь, все Катерина сэкономила. И т. д., и т. д. Когда мелкий буржуа решается на самоотвержение, эти абажуры и ростбифы занимают видное место в ряду вещей, принесенных им на алтарь идеи. Ибсен хорошо подметил это.

Взять хоть бы «женский вопрос». Когда Гельман говорит Норе, что она – прежде всего жена и мать, та отвечает:

«Я в это больше не верю. Я думаю, что прежде всего я человек или, по крайней мере, должна постараться стать человеком». Она не признает браком обычного «законного» сожительства мужчины с женщиной. Она стремится к тому, что у нас называлось когда-то эмансипацией женщины. К этому стремится, по-видимому, и «дочь моря» Эллида. Она хочет свободы во что бы то ни стало. Когда муж предоставляет ей свободу, она отказывается следовать за «неизвестным», к которому ее прежде так тянуло, и говорит мужу:

«Ты был для меня хорошим врачом. Ты нашел и отважился применить единственно верное средство, единственное, которое могло помочь мне».

Наконец, даже фру Майя Рубек («Когда мы, мертвые, пробуждаемся») не довольствуется тесными пределами семейной жизни. Она упрекает своего мужа в том, что он не исполнил своего обещания взять ее с собой на высокую гору и показать ей все царства мира и славу их. Окончательно разорвав с ним, она, «ликуя», поет:

Конец моей прежней неволи,  
Я вольная птица теперь,  
На воле, на воле, на воле.

Словом, Ибсен стоит за освобождение женщины. Но здесь, как и везде, его интересует психологический процесс

освобождения, а не его социальные последствия, не то, как отразится оно на общественном положении женщины. Важно освобождение, а по общественному положению женщина пусть остается тем же, чем была до сих пор.

В речи, произнесенной им в «Союзе для защиты дела женщины» 26-го мая 1898 года, Ибсен признается, что ему непонятно, что это такое – «дело женщины». Дело женщины есть дело человека. Ибсен всегда стремится «поднять народ «а более высокую ступень», и решить эту задачу призваны, по его словам, особенно женщины. Именно, матери посредством упорной и медленной работы возбуждают в народе стремление к культуре и чувство дисциплины. Это необходимо предварительно сделать для того, чтобы поднять народ на более высокую ступень. А сделав это, женщины решат вопрос человека. Словом, ради «дела человека» женщины должны ограничить свой горизонт пределами детской комнаты. Ясно ли это?

Женщина – мать. Так. А мужчина – отец. Однако это не мешает ему выходить из детской. Освобожденная женщина удовлетворяется ролью матери, как довольствовалась ею женщина, никогда не задумывавшаяся о свободе. Да это и несущественно. Важно вечное, а не временное. Важно движение, а не его результаты. «Бунт человеческого духа» оставляет все на старом месте. Огромная гора опять разрешается маленькой мышкой, благодаря той методологической ошибке, для которой указано было мною социологическое объяс-

нение.

А любовь – любовь между мужчиной и женщиной? Еще Фурье с огромным сатирическим талантом указывал на то, что буржуазное общество, – цивилизация, как выражался он, – безжалостно топчет любовь в грязи денежного расчета. Ибсен знал это не хуже Фурье. Его «Комедия любви» представляет собою превосходнейшую сатиру, которая до последней степени зло осмеивает буржуазный брак и буржуазные семейные добродетели. Но какова развязка этой замечательной пьесы, одной из самых лучших пьес Ибсена? Девушка Свангильд, любящая поэта Фалька, выходит замуж за негоцианта Гульдстада и делает это именно во имя своей возвышенной любви к Фальку. Между ней и Фальком происходит по этому поводу следующий невероятный, но весьма характерный для мирозерцания Ибсена разговор:

Фальк... Расстаться нам с тобой, когда так ярко, чист свод неба голубой, когда открыт нам мир восторгов, упоенья и чар весны, когда союз наш молодой сегодня только получил крещение...?!

Свангильд. Как раз поэтому. Стоим мы на вершине, и шествию победному – отныне путь под гору лежит. Но в страшный день суда к ответу может нас призвать судья наш строгий, и горе, если на вопрос Творца – куда девали дар Его ответим, что дорогой утерян нами дар любви святой!

Фальк. Взгляд я понял твой!

На этом лишь пути тебя догнать могу я!

Как душу к жизни вечной тела смерть ведет, так и любовь бессмертье обретет тогда лишь, как желаний плотских сбросит гнет и отлетит в родной духовный мир, минуя, воспоминаньем чистым став! Кольцо долой!

Свангильд *(в восторженном порыве)*.

Так сделала теперь свое я дело зажгла в тебе огонь поэзии живой!

Лети! Взвился к победе соколиной, а Свангильд – песню лебединую пропела!

*(Снимает с пальца кольцо и целует его.)*

До дня кончины мира в глубине морской лежи, моя мечта, – я твердою рукою тебя похороню.

*(Делает несколько шагов к фиорду, забрасывает кольцо в воду и возвращается к Фальку с просветленным лицом.)*

Для жизни скоротечной тебя утратила – и обрела для вечной.

Это – полное торжество вечного, «несотворенного» духа, и в то же время, – и именно по этой причине, – это полное самоотречение, самоуничтожение «нового», временного. Победа «очищенной» воли равносильна полнейшему ее поражению и торжеству того, к отрицанию чего она стремилась. Поэтический Фальк уступает честь и место прозаическому Гульдстаду. В борьбе с буржуазной пошлостью герои Ибсена оказывались всего слабее именно тогда, когда их «очищен-

ная» воля обнаруживала наибольшую силу. «Комедия любви» могла бы быть названа «Комедией автономной воли».

## VII

Недавно, в известной парижской газете «L'Humanité», т. Жан Лонгэ назвал Ибсена социалистом. Но в том-то и дело, что Ибсен был так же далек от социализма, как и от всякого другого учения, имеющего общественную подкладку. В доказательство я сошлюсь на речь, произнесенную Ибсеном в дронтгеймском рабочем союзе 14 июня 1885 года.

В этой речи маститый драматург описывает впечатления, полученные им при возвращении на родину после многолетней жизни за границей. Он увидел много отрадного, но испытал и некоторые разочарования. Он с сожалением убедился в том, что необходимейшие личные права еще не пользуются в его стране надлежащим законодательным признанием. Правящее большинство произвольно ограничивает свободу совести и речи. С этой стороны остается еще много сделать, но нынешняя демократия<sup>27</sup> не будет в состоянии решить эту задачу. Чтобы она могла быть решена, в правительство, в государственную жизнь, в печать и в народное представительство должен быть предварительно внесен элемент благородства. «Говоря это, – поясняет Ибсен, – я думаю, конечно, не о дворянском благородстве, не о благородстве денежной

---

<sup>27</sup> Слово: «нынешняя» подчеркнуто в печатном тексте речи. Ibid., S. 525.

аристократии, не о благородстве знания и даже не о благородстве способностей, дарования. Я имею в виду благородство характера, благородство воли и настроения. Только такое благородство освободит нас». И это благородство придет, по его словам, с двух сторон: «со стороны женщин и со стороны рабочих».

Это в высшей степени интересно. Во-первых, «правлящее большинство», которым недоволен Ибсен, приводит на память то «сплоченное большинство», с которым воевал доктор Стокман. Оно тоже навлекает на себя упрек в отсутствии уважения к правам личности вообще, – в частности к свободе совести и слова. Но, в противность Стокману, Ибсен не говорит, что «недохватка кислорода» осуждает человека из «массы» на отупение. Нет, рабочий класс является здесь одной из тех двух общественных групп, от которых Ибсен ждет обновления общественной жизни Норвегии. Это как нельзя лучше подтверждает сказанное мною выше о том, что Ибсен вовсе не был сознательным противником рабочего класса. Когда он задумывается о нем, как об особой составной части «толпы», – что случилось с ним в Дронтгейме, но что случилось с ним вообще крайне редко, – он как будто уже не довольствуется «доением козла», освобождением ради освобождения, «бунтом духа» ради «бунта духа», а указывает на определенную политическую задачу: расширение и упрочение индивидуальных прав. Но каким путем следует идти к решению этой задачи, которая, кстати сказать, должна быть

отнесена к числу «частичных революций», так резко осужденных Ибсеном? Казалось бы, что путь этот должен вести через политическую область. Но в политической области Ибсен всегда чувствует себя слишком неудобно. Он спешит уйти в несравненно более привычную и привлекательную для него область морали: он ждет всего лучшего от внесения в политическую жизнь Норвегии «элемента благородства». Это уже совсем туманно. Здесь как будто говорит его художественное детище, Иоганн Росмер, который тоже задается целью сделать всех людей в стране «благородными людьми». («Росмерсгольм», первое действие). Росмер надеется достигнуть этой возвышенной цели, «освободив дух» людей и «очистив их волю». И это, разумеется, похвально. Свободный дух и чистая воля весьма желательны. Но политики здесь нет ни одной капли. А без политики нет и социализма.

Заметьте: в том, что Ибсен говорил дронтегеймским рабочим о «благородстве», была большая доля правды. Его чуть поэта, не выносившего мелкобуржуазной умеренности, опошляющей даже благороднейшие движения души, не обмануло его, указав ему на рабочих, как на тот общественный элемент, который внесет в общественную жизнь Норвегии недостающий ей элемент благородства. Энергично стремясь к своей великой «конечной цели», пролетариат в самом деле освободит свой дух и очистит свою волю. Но Ибсен извращал действительное отношение вещей. Чтобы в пролетариате произошло это, нравственное перерождение, ему

необходимо предварительно поставить перед собою эту великую цель: иначе он не выйдет из мелкобуржуазной трясины, несмотря ни на какие нравственные проповеди. Благородный дух энтузиазма вносят в рабочую среду не Росмеры, а Марксы и Лассали.

Нравственное «освобождение» пролетариата будет достигнуто лишь посредством его социальной освободительной борьбы. «В «начале было дело», говорит Фауст. Но это-то и не понимал Ибсен.

Правда, в дронтеймской речи есть одно место, которое, по-видимому, подтверждает мысль Жана Лонгэ. Вот оно:

«Преобразование общественных отношений, подготовляющееся теперь там, в Европе, занимается главным образом вопросом о будущем положении рабочего и женщины. Я жду этого преобразования, я уповаю на него, и я хочу и буду действовать на его пользу всеми силами в течение всей моей жизни». Здесь Ибсен как будто выступает убежденным социалистом. Но, во-первых, это место страдает крайней неопределенностью. Я уже не говорю о том, что нельзя отделять так называемый женский вопрос от так называемого рабочего вопроса. Но Ибсен ни одного слова не говорит о том, как сам он представляет себе будущее «положение рабочего». А это показывает, что ему совсем не ясна конечная цель «преобразования общественных отношений». Ожидание благородства от женщины не помешало Ибсену запереть ее в детской. Откуда же видно, что ожидание благородства от рабочих

привело его к сознанию того, что рабочий должен избавиться от ига капитала? Это ниоткуда не видно; а из речи, произнесенной Ибсеном перед «Союзом для защиты женского дела», видно, наоборот, что «преобразовать общественные отношения» на его языке значило только «поднять народ на более высокую ступень». Социализм ли это?<sup>28</sup>

У Ибсена выходит, что сначала надо облагородить народ, а потом поднять его на более высокую ступень. По существу, это формула тождественна с пресловутой формулой наших блаженной памяти крепостников: «сначала просветить народ, а потом освободить его». Повторяю еще раз: в Ибсене не было ровно ничего крепостнического. Он совсем не враг народного освобождения. Он даже, пожалуй, согласен работать на пользу народа. Но как это сделать? Как за это взяться? Это ему совершенно неизвестно. А неизвестно ему это потому, что в мелкобуржуазном обществе, в котором он рос и с которым он вел жестокую войну впоследствии, не было и не могло быть данных не только для правильного решения, но даже и для правильной постановки таких вопросов, как рабочий или женский.

Жан Лонгэ ошибся. Его ввело в ошибку уже упомянутое мною выше заявление, сделанное Ибсеном в 1890 г. по по-

---

<sup>28</sup> Удивительно, что Брандес, все-таки знакомый с социалистической литературой, нашел в дронтегеймской речи выражение «скрытого социализма» Ибсена (G. Brandes, *Gesammelte Schriften*, München 1902, B. I, S. 42. статья: *Henrik Ibsen u. seine Schule in Deutschland*). Впрочем, Брандес видит «скрытый социализм; даже в «Столпах общества». На это нужно много доброй воли!

воду газетных толков, вызванных лекциями Бернарда Шоу на тему: Ибсен и социализм.

В этом заявлении наш автор утверждает, что он старался, поскольку ему позволяли случай и способности, «изучить социал-демократические вопросы», хотя «никогда не имел времени для изучения великой, обширной литературы, занимающейся различными социалистическими системами»<sup>29</sup>. Но, как я уже заметил, по всему видно, что и на «социал-демократические вопросы» Ибсен взглянул с своей обычной, т. е. с исключительно моральной, а не с политической точки зрения.

Как плохо понял он современное движение пролетариата, видно из того, что он совсем не выяснил себе великого исторического значения Парижской Коммуны 1871 года; он объявил ее карикатурой на его собственную общественную теорию, между тем как в его голове для общественных теорий вовсе не было места.

---

<sup>29</sup> Ibid., S. 510.

## VIII

На похоронах Ибсена один из его поклонников назвал его Моисеем. Это едва ли удачное сравнение.

Ибсен, может быть, как никто другой из современных ему деятелей всемирной литературы, способен был вывести читателя из Египта филистерства. Но он не знал, где лежит обетованная земля, и даже думал, что и не надо никакой обетованной земли, потому что все дело во внутреннем освобождении человека. Этот Моисей осужден был на безвыходное блуждание в пустыне абстракции. Это было для него огромным несчастьем. Он сказал о себе, что его жизнь была «длинной, длинной страстной неделей»<sup>30</sup>. Этому нельзя не поверить. Для его искренней и цельной натуры вечное блуждание в лабиринте неразрешимых вопросов должно было стать источником невыносимых страданий.

Этим своим несчастьем он был обязан неразвитости норвежской общественной жизни. Неприглядная мелкобуржуазная действительность показала ему, чего надо чуждаться, но не могла показать, куда следует идти<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> В речи, произнесенной на банкете в Стокгольме 13-го апреля 1898 г. (Ibsen's Werke, I, S. 534).

<sup>31</sup> С пролетарской политикой в Норвегии дело до сих пор обстоит довольно плохо. После недавнего отделения этой страны от Швеции, когда возник вопрос «республика или монархия?», некоторые из ее социал-демократов выска-

Правда, покинув Норвегию, отряхнув от ног своих прах буржуазной пошлости и поселившись за границей, он имел полную внешнюю возможность найти тот путь, который ведет к действительному возвышению человеческого духа и к действительной победе над пошлым мещанством. В тогдашней Германии уже неслось неудержимым потоком освободительное движение рабочего класса, то движение, о котором даже враги его говорят, что оно одно способно породить теперь неподдельный и высокий нравственный идеализм. Но у Ибсена уже не было внутренней возможности ознакомиться с этим движением. Его пытливый ум был слишком поглощен теми задачами, которые поставила перед ним общественная жизнь его родины, и которые оставались неразрешимыми для него именно потому, что эта жизнь, задав их ему, еще не выработала из самой себя посылок, необходимых для их решения<sup>32</sup>.

Ибсена называли пессимистом. И он в самом деле был им. Но в своем положении и при своем серьезном отношении к

---

зались за монархию. Это было по меньшей мере изумительно.

<sup>32</sup> В интересах точности прибавлю, что влияние более развитых стран сказало на Ибсене еще до отъезда его за границу. Еще живя в Христиании, с энтузиазмом писал он о венгерской революции и даже одно время стал сближаться с людьми, зараженными социализмом. Можно сказать поэтому, что не норвежская жизнь, а иностранные влияния научили его тому, от чего нужно было отвернуться. Но эти влияния были во всяком случае не настолько сильны, чтобы привить ему прочный политический интерес. О Венгрии он скоро позабыл, а с людьми, зараженными социализмом, скоро разошелся, вспомнив о них, может быть, только в момент составления своей дронтгеймской речи.

мучившим его вопросам он решительно не мог стать оптимистом. Он стал бы оптимистом только тогда, когда ему удалось бы разгадать загадку сфинкса нашего времени, а это не было суждено ему.

Он сам говорит, что одним из основных мотивов его творчества была противоположность между желанием и возможностью. Он мог бы сказать, что это был основной мотив его творчества, и что именно здесь лежит разгадка его пессимизма. И эта противоположность была, в свою очередь, продуктом среды. В мелкобуржуазном обществе «люди-пудели» могут иметь очень широкие замыслы. Но «свершить» им «ничего не дано» по той простой причине, что для их воли нет никакой объективной опоры.

– Правда ли это? – спросил я известного шведского социал-демократа Брантинга. – «К сожалению, это правда», – отвечал он. – Да зачем они это сделали?! – «Чтобы не отстать от нас, шведов, у которых есть король», – отвечал Брантинг с тонкой улыбкой. Вот так социал-демократы! Таких вряд ли можно найти еще где-нибудь на земном шаре.

Говорят также, что культом Ибсена был культ индивидуализма. Это тоже верно. Но этот культ возник у него единственно потому, что его мораль не нашла себе выхода в политику. И это было проявлением не силы его личности, а той слабости ее, которой он обязан был воспитавшей его общественной среде. Судите после этого о глубокомыслии Ля-Шенэ, который, в своей, цитированной мною выше, статье

в «Mercure de France», – утверждает, что для Ибсена было большим счастьем родиться в такой маленькой стране, «где ему, правда, трудно приходилось вначале, но где, по крайней мере, ни одно усилие его не могло остаться незамеченным, потонуть в массе других изданий». Это, так сказать, точка зрения литературной конкуренции. С какой презрительной иронией отнесся бы к ней сам Ибсен!

Де-Колльвилль и Зепелэн справедливо называют Ибсена мастером новейшей драмы. Но если дело, согласно пословице, мастера боится, то оно отражает на себе в то же время и все его слабости.

Слабость Ибсена, состоявшая в неумении найти выход из морали в политику, «безусловно должна» была отразиться на его произведениях внесением в них элемента символизма и рассудочности, если хотите, – тенденциозности. Она обескровила некоторые его художественные образы, при чем пострадали именно его «идеальные люди», «люди-пудели». Вот почему я и говорю, что как драматург он оказался бы ниже Шекспира, даже если бы имел его талант. В высшей степени интересно выяснить себе, как и почему этот несомненный огромный недостаток его произведений мог быть принят читающей публикой за их достоинство. Ведь на это также должна быть своя общественная причина.

Но место не позволяет мне говорить здесь об этом. Я разберу этот вопрос впоследствии, когда коснусь также другого, тесно с ним связанного вопроса о том, каким образом ма-

стером драмы в современной всемирной литературе мог сделаться представитель одной из самых неразвитых европейских стран. Брандес справедливо замечает<sup>33</sup>, что одним талантом Ибсена его успех за границей объяснить нельзя, хотя объяснение, даваемое самим Брандесом, из рук вон плохо.

Ну, да об этом после

---

<sup>33</sup> См. его упомянутую выше статью: Henrik Ibsen u. seine Schule in Deutschland.